

## ВОСПОМИНАНИЯ ОБ Э. ЦИННЕ И В. ШАДЕВАЛЬДТЕ\*

### Вергилий и "космический эпос": Эрнст Цинн

Товарища, бывшего на первом "приемном часе" Эрнста Цинна<sup>1</sup> в Тюбингене, я спросил, каков новый профессор. Он сказал: "Человеколюбив". Пусть этот эпитет открывает главу, посвященную ему, хотя это, конечно, не исчерпывающее определение его глубокой личности. Цинн, тогда сорокашестилетний, был сравнительно молодым профессором. Когда я глядел на него сбоку, его отважный, ясно очерченный профиль, гладкая, черная как смоль шевелюра, плотно облегающая могучий череп, и тонко вырезанные остроконечные уши, напоминали мне античных сатиров или Мефистофеля в театральных представлениях двадцатых годов. Однако, как только я усаживался напротив него, черты его лица представлялись мягкими и добрыми. Соответственно и в разговоре его ирония не была разрушительной, а, по примеру Сократа, способствовала проявлению добра и правды.

Слова "приемный час" или "аудиенция" также описывают некую грань его личности. Он умел слушать, точнее: активно внимать словам собеседника. Этот редкий дар сочетался со способностью наблюдения и опытом физиономиста. Глубокое знание людей позволяло ему поощрять каждого из своих многочисленных учеников соответственно его особым способностям. Таким образом его школа повлияла на самые различные отрасли классической филологии.

Не жалея себя, он вел бесконечное число разговоров с кандидатами, выбирая лучших государственных стипендиатов. На заседаниях соответствующей – весьма затейливой – институции<sup>2</sup> он следил за соблюдением высоких научных и человеческих критериев, возмущаясь, например, тем, что однажды в начале заседания забыли вспомнить умерших в данном году. Он был глубоко убежден, что так называемая

---

\* Посвящаю эту главу своих воспоминаний А. К. Гаврилову, прирожденному филологу, дорогому другу и соратнику в борьбе за классическую филологию и классическое образование. Я не забыл его совета "не переводить, а сочинять порусски". Воспоминания выйдут из печати под редакцией Е. Федоровой и Г. Пешковой в издательстве "Лабиринт".

<sup>1</sup> Ernst Zinn (1910–1990).

<sup>2</sup> Нем. "Studienstiftung".

“традиция” охватывает целую цепь поколений, живо взаимодействующую между собою.

Но не раз на “аудиенциях” участники менялись ролями: когда ученик ставил перед ним научную проблему или просто слушал – говорил он долго и обстоятельно. Такие часы нередко заменяли студенту целые месяцы собственных разысканий. Подчас ответы далеко выходили за пределы заданного вопроса. Слушатель чувствовал себя обогащенным сверх ожидания, вроде мальчуганов в VI Эклоге Вергилия, которые заставили старого Силена спеть им песню, а получили вместо нее универсальный эпос о начале мира, о богах и людях, о любви и смерти.

Обширный кругозор его опирался на редкий дар: непогрешимую память. Говорят, что в молодости он любую страницу, прочтя один раз, помнил наизусть. Досконально изучил он пять специальностей: латынь, греческий, немецкий, историю и археологию. Однажды, указывая на полку с рукописями, он объяснял мне: “Это – те лекции, которые я слушал студентом. Каждую из них я мог бы повторить вам дословно”. В его устах это звучало не как хвастовство, а как трезвая констатация факта. Впрочем, он никогда не говорил о своих способностях. Запрещал он себе цитировать своего любимца Рильке (которого, конечно, знал наизусть). Однажды он слушал лекцию Шадевальдта и, когда тот “застрял”, приводя стихи Гёте, подсказал ему продолжение. Шадевальдт, не поверив, запротестовал, что это не слова поэта, но на следующей лекции признался, что Цинн был совершенно прав.

Когда какой-нибудь коллега публиковал книгу, Цинн, бывало, замечал как бы мимоходом: “Да-с, только он знает слишком мало о своем предмете”. Таковым был его отзыв на труд известного философа Гадамера *Истина и метод (Wahrheit und Methode)*. И в самом деле, он обладал такими знаниями, которые даже в данном случае как бы позволяли ему высказаться подобным образом. Однако когда он неоднократно в присутствии студента называл своего коллегу, индолога Глазенаппа,<sup>3</sup> “Носоклопом” или “Нап-чиком” (используя часть фамилии с уменьшительным суффиксом, чтобы подчеркнуть малость роста), ирония Цинна-сатира явно одерживала верх над хорошим вкусом Цинна-профессора.

Часто он жаловался на то, что с каждым ученым умирают и погребаются все его знания и что каждому поколению, даже каждому человеку приходится начинать учиться снова. Почти никогда не публиковал он собственных монографий. Зато о его труде свидетельствуют монументальные издания (Рильке и Касснера),<sup>4</sup> снабженные учеными

---

<sup>3</sup> Helmuth von Glasenapp (1891–1963).

<sup>4</sup> Rudolf Kassner (1873–1959), философ-культуролог, повлиявший на поэтов, современных ему: Гофманнстала, Рильке, Уайлда и Валери.

введениями и богатейшими комментариями (напр. *Книга друзей* Гофманстала).<sup>5</sup> Эти книги проживут дольше, чем многие заносчивые, но минутные публикации так называемых плодовитых ученых. Сравнивая каждое слово своего любимца Рильке с рукописями, он в течение многих лет жертвовал своими каникулами – да еще все время подвергался недоверчивому надзору со стороны дочери поэта, позволявшей ему работать только тогда, когда у нее было время следить за ним. Так как он ради удобства читателя не печатал так называемого “научно-критического аппарата”, его кропотливая работа вовсе не бросается в глаза.

И в своих латинских семинарах он с самого начала приучал нас проверять текст по фотокопиям рукописей. Таким образом я очень скоро перестал бояться палеографии и посещения библиотек. Правда, многих студентов лекции Цинна отпугивали обилием материала и отсутствием системы, но памятливы мне и отдельные товарищи, которые, как загипнотизированные им, с лекции сразу же бежали в библиотеку “к источникам”, за редкими книгами, упомянутыми мастером. Это меня утешало в печали о том, что он сознательно пренебрегал педагогикой, говоря, например: “Этого только не доставало! Готовиться *мне*? И для этих франтов?” Такая форма университетского аристократизма была мне совершенно непонятна. Надо признать, он помнил все детали и без подготовки, но помогать студентам отделять зерна от плевел – это почему-то было не его делом.

Незадолго до смерти он сказал, что самого главного сделать не успел. Вопреки этой самокритике и вопреки распространенному мнению, будто он писал мало на классические темы, при публикации его очерков<sup>6</sup> оказалось, что его тонко разработанные научные доклады и статьи составляют не только превосходную, но и объемистую книгу.

Начинался его рабочий день невероятно рано, поскольку для научных трудов он пользовался тишиной утренних часов. Когда он в восемь часов утра приходил на свои лекции *Введение в филологию* – вооруженный двумя обширными кожаными саквояжами, набитыми книгами и множеством записок, – этот час студентам казался почти еще ночным, а для него тогда рабочий день оказывался уже позади. Было в порядке вещей, что он тогда уже чувствовал себя усталым и иногда терял нить какого-то объяснения в лекции. Вдруг слышится мне его голос: “Господин Альбрехт, нить!” Достаточно было шепнуть ему реплику, и лекция продолжалась...

Вследствие столь своеобразного распорядка он был способен и среди бела дня удаляться в объятия Морфея. Памятна мне захватывающая дух автомобильная поездка из Бонна в Кёльн среди зимы. За ру-

<sup>5</sup> Hugo von Hofmannsthal (1874–1929), крупный немецко-австрийский поэт.

<sup>6</sup> *Viva Vox. Römische Klassik und deutsche Dichtung* (Frankfurt 1992).

лем сидел любезный кёльнский коллега, а Цинн устроился поудобнее на заднем сиденье. Находясь рядом с водителем как бы “вторым пилотом”, я был занят по горло: поскольку справа и слева от нас стояли застрявшие в снегу машины, а мостовая была скользкой, как каток, я с трудом успокаивал кёльнского друга, читая занесенные снегом надписи и хваля его ловкость... Благополучно доехав, мы вдруг слышим голос Цинна: “Какая спокойная, отрадная поездка!” Он все время спал сном праведника... Должно быть, не много существует профессоров, заснувших на собственном курсе. Одним прекрасным вечером, в семинаре Цинна, студент читал длинный доклад монотонным голосом. Мастер, уставший от трудов дня, сидел возле центрального отопления. Вдруг мы заметили, что он задремал... Будучи гражданином двух миров, он мне иногда напоминал фигуры из рассказов Э. Т. А. Гофмана: с одной стороны – ученый, как “Архивариус Линдгорст”,<sup>7</sup> с другой – хоть и не огненная саламандра, но как бы “вещий водяной” или Гомеров Протей, “морской пронизательный старец”.<sup>8</sup>

Пусть на лекциях Цинн не блистал искусством оратора – лекции, по его убеждению, не должны были иметь “характера докладов”, – но зато в веселом обществе его “спичи” отличались остроумием и живостью. Однажды он у себя дома в честь гостей произнес забавную речь о трех цветах: зеленом, голубом и красном. Зеленый, конечно, представлял собой надежду, голубой – верность. Тут он высказал убеждение, характерное для него: “Верность – сама собой разумеется”. Но когда он, заговорив о красном цвете, стал восхвалять любовь в горячих выражениях, его маленький сын прервал речь отца восклицанием: “Папа, ты ми-и-иль!”

И в самом деле, он принадлежал к тем людям, для которых нравственность “разумеется сама собой”. В духе Шиллера, которого Цинн любил смолodu, либеральные идеи и нелюбовь к тиранам были существенной частью его семейной традиции, с тех пор как его дед, крупный психиатр, в год революции (1848 г.) был изгнан из Берлина, а швейцарцами не только принят, но и произведен в почетные граждане.

Тем не менее Эрнст Цинн не был кислым моралистом. Немецким латинистам – которые тогда односторонне настаивали на гражданских доблестях римлян – он показал, что римляне “не состояли исключительно из прусских и швабских достоинств, но и умели жить” (так он выразился, выступая после доклада французского коллеги). Он стремился установить связь между поэзией и реальной жизнью римлян, не избегая и темы эротики и опираясь на исторические и археологические

---

<sup>7</sup> Персонаж сказки Гофмана *Золотой горшок*, в бюргерском мире – архивариус, а в поэтическом – огненная саламандра.

<sup>8</sup> *Одиссея* 4, 384 сл., в переводе В. А. Жуковского.

памятники. Но знание реалий не причиняло ущерба его привязанности к словесности, а помогало ему вписывать творчество поэтов в их физическое и духовное окружение.

В этом отношении музыкальная сторона латинского стихосложения приобретала для его исследований решающее значение. Его диссертация об ударении в лирике Горация свидетельствует о необыкновенной чуткости слуха. Это качество проявлялось и в декламации немецких и английских текстов, но незабвенно мне, как он в течение зимнего семестра на двенадцати заседаниях читал нам всю *Энеиду* по-латыни. Мы каждую неделю переводили с трудом книгу за книгой, чтобы следовать за его чтением. По сей день помню *Энеиду* лучше многих других текстов (исключая, конечно, моего любимца Овидия). Установленная Цинном практика читать вслух тот текст, которым он занимался с научными целями, на лекциях и в семинаре, оказалась полезным педагогическим новшеством. Упомянем и его перевод десятой книги *Метаморфоз* Овидия, чем он – вместе с художником Геннингером<sup>9</sup> – способствовал живому влиянию античного текста на современность.

Охотно он приглашал студентов к себе – на таких вечерах стипендиаты читали, например, сцены из *Фауста* Гёте, *Макамы Харири* Рюккерта<sup>10</sup> или представляли *Шпигеля-Кошечку* Келлера.<sup>11</sup> Для него и для нас его жена – молодая, спортивная и энергичная – воплощала Музу. Эта высокообразованная музыкантша обладала очаровательным сопрано и прекрасно играла на рояле. Однажды она мне аккомпанировала – блестяще и как бы без труда играя скрипичную сонату Цезаря Франка, пробный камень для пианиста. Владевшая русским языком, она, вероятно, единственный человек в Германии, читавший мою русскую книжечку о Тургеневе. К моей жене она питала особенную симпатию, потому что обе родили по парочке близнецов (комментарий коллеги: “Право, Вы подражаете учителю во всех отношениях!”).

И после того, как я в 1963-м г. – совершенно неожиданно для себя – получил Гейдельбергскую кафедру (чем наряду с другими, наверное, обязан и ему) нить не оборвалась. В свое замечательное издание *Книги друзей* Гофманстала он несколько лет спустя вписал вторичное посвящение мне. К собственным стихам о том, что мы благодарим судьбу за дружбу, продолжавшуюся уже в течение семи лет, он прибавил таинственный латинский гекзаметр, якобы приснившийся Теннисону. Несмотря на классический язык, содержание этой загадочной строки

<sup>9</sup> Manfred Henninger (1894–1986).

<sup>10</sup> Friedrich Ruckert (1788–1866), немецкий поэт, ориенталист и филолог-классик.

<sup>11</sup> Gottfried Keller (1819–1890), крупный швейцарско-немецкий писатель и поэт.

в силу своей неопределенности несет печать современности: *Immemorabilem per fulva crepuscula palpans* (“На ощупь сквозь рыжие сумерки неизреченного”). Мнится, будто приходишь в какую-то неведомую местность, в которой все заманчиво и ново. Таким представлялось мне учение у Эрнста Цинна: пути открывались во все стороны и взор устремлялся в будущее. Вот почему меня при встрече с ним увлекла филология в самом широком понимании слова, которую он воплощал. Многое, казавшееся давно известным, превращалось в целину. Но, прочувствовав всю чуждость античности, я был поражен, что она опять начинала говорить со мной непосредственно и с новой силой оказывать свое влияние. Смелая прозорливость учителя открылась мне, когда я в минуту малодушия спросил его: для кого же мы пишем? Он ответил: “Для внуков”.

### Еще раз Гомер и Платон: мгновения внутренней свободы

Под конец моей деятельности в Тюбингене я вдруг оказался счастливым владельцем малюсенькой машины, серенькой, как мышка, – шурин, выигравший ее в лотерею, продал мне ее очень дешево. Так случилось, что однажды я имел честь возить по весеннему Тюбингену вдвойне драгоценный груз: профессоров Цинна и Шадевальдта.<sup>12</sup> Последний задумчиво смотрел в окно на цветущие сады. Слышу его голос: “Чем старше становлюсь, тем более меня – почти как ребенка – радует чудесная природа”. Не менее прямо, почти простоудушно, он подходил к античным текстам. Это с первого же семестра очень помогало нам учиться. Говаривал он, что существуют две разновидности непосредственности: первая – начинающего, обязанного, конечно, прежде всего усвоить научную дистанцию между собой и изучаемой материей. Однако, пройдя строгую школу критики, специалист – по его словам – обретал “вторую непосредственность”: по отношению к текстам. Эта способность, которой он обладал в высшей мере, позволяла ему устанавливать связи между греческими текстами и жизнью, античной и современной.

В самом деле, на лекциях по греческой лирике он так живо представлял нам личность каждого поэта, как будто бы все они были его знакомыми. Так я понял, что Архилох отнюдь не “архи-плох” (как острил мой дед Альбрехт), и что представление о человеке у лириков отличалось от героического эпоса: речь шла не о герое, а о “маленьком, ловком парне” (σικρός τις объяснял Шадевальдт: “Ясное дело, что правильный перевод слова τις здесь ‘парень’”). Таким образом мнимое

<sup>12</sup> Wolfgang Schadewaldt (1900–1974).

расстояние между античными и современными греками вдруг как бы исчезало. Не менее живыми и захватывающими были лекции о досократиках. Об *Одиссее* Шадевальдт говорил – что сегодня трудно представить – в присутствии двухсот пятидесяти человек. Тогда для студентов разумелось само собой, что следует слушать и профессоров других специальностей. Наряду с удивительно свежим Нестором латинистов, Вейнрейхом,<sup>13</sup> философом Шпрангером,<sup>14</sup> богословом Тилике<sup>15</sup> и археологом Швейцером<sup>16</sup> Шадевальдт принадлежал к тем, на лекции которых тюбингенскому студенту просто полагалось наведываться.

Он шутиливо извинялся, когда читал нам печатный перевод (его собственный!), ибо тогда считалось, что студенты должны усваивать множество текстов в оригинале, и было запрещено пользоваться переводами. Готовясь к экзамену, приходилось читать в оригинале четырех авторов (в моем случае Платона, Фукидида, Гомера и Еврипида). И после экзамена я ежегодно во время вакаций прочитывал всего Гомера, отдыхая и оживая в целебном климате его свежего языка.

В семинаре по *Никомаховой этике* Аристотеля Шадевальдт учил нас углубляться в философские термины при помощи индекса Боница, а также словаря Киттеля к *Новому Завету*, превосходного пособия и для понимания языческих текстов. Смежность филологии и теологии для Цинна и Шадевальдта заключалась в том, что тогда в обеих специальностях очень бережно обращались со словами и текстами. А родство диалогов Платона с живым разговорным языком мне открыл Гильдебрехт Гоммель,<sup>17</sup> благородная голова, царственная осанка и смелая поступь которого как бы преображала атмосферу аудитории, как только он входил.

Семинары Шадевальдта для старших студентов проходили у него дома, по понедельникам с восьми часов вечера почти до полуночи; в конце семестра его жена еще угощала нас чаем. В довольно узкой, но высокой комнате, как бы у ног великого Гёте, веймарское издание сочинений которого занимало целую стену, мы теснились с обеих сторон длинного стола. Нас было около двенадцати участвующих, среди них умерший слишком рано Конрад Гайзер,<sup>18</sup> который раз и навсегда воплотил для меня благородство и человеческий лик истинного философа. Памятны мне и Клаус Баргельс, *vir humanissimus*, позже работавший в Цюрихе, и Юрген Випперн, уже тогда горячий приверженец “неписаного учения” Платона. Упомянем также ученую сотрудницу

---

<sup>13</sup> Otto Weinreich (1886–1972).

<sup>14</sup> Eduard Spranger (1882–1963).

<sup>15</sup> Helmut Thielicke (1908–1986).

<sup>16</sup> Bernhard Schweitzer (1892–1966).

<sup>17</sup> Hildebrecht Hommel (1899–1996).

<sup>18</sup> Konrad Gaiser (1929–1988).

профессора Ингеборг Шудомы и барона Фрейтага,<sup>19</sup> знатока логики и математики, однажды – *privatissime et gratis*<sup>20</sup> – показавшего мне восстановленную им счетную машину философа Лейбница, производившую, например, массы безупречных латинских гексаметров. Со знаменитым учеником Шадевальдта, Кремером,<sup>21</sup> я познакомился позже: под маской строгого ученого и пронизательного мыслителя скрывался крайне чуткий, очень добрый человек. Философия для него была не только игрой ума. К сожалению, та часть профессионального цеха, которая считает серьезность непростительным грехом, недооценивала эту незаурядную личность.

Темой семинара был диалог Платона *Тимей*, являвшийся полторы тысячи лет основным текстом науки, и Шадевальдт не был бы Шадевальдтом, не ставь он перед нами вопроса, прав ли Платон. Сам он указывал на то, что учение Платона о пяти стереометрических телах, составляющих мир, явно основано на принципе математического объяснения вселенной. На этом высоком умозрительном уровне он открывал сходство с современной физикой – например, Гейзенберга<sup>22</sup> – заменившей наивный материализм эпикурейского атомизма более отвлеченным математическим подходом. Остро обсуждалась сложная роль “пространства” или “места” (χώρα) и “материи” (ύλη) в *Тимее*. Некоторые товарищи ловко находили выход – отождествляя то или другое с платоновым принципом “неопределенной диады” (ἀόριστος δυάς) или даже с “не существующим” (μη ὄν). Менее спекулятивной и более плодотворной была, на мой взгляд, тема, тогда заданная мне: отношение между вечностью и ее подвижным образом, временем, – вопрос, занимавший меня и позже в связи с Августином.

Короче говоря, обсуждались основные темы: человек и природа, космология и космогония. Взаимодействовали и методы разных дисциплин; оказывалось, что одна из лучших работ о *Тимее* была написана известным германистом,<sup>23</sup> а философ Фрейтаг неустанно шпынял нас вопросами логики, которыми пренебрегать было невозможно. Что касается проблемы “устного учения” Платона, то я уверен, что труды Гайзера и Кремера переживут многие другие исследования, посвященные этому философу. Но еще важнее кажется мне беспокоивший меня и позже вопрос – бывший пружиной семинара Шадевальдта, – прав ли Платон.

---

<sup>19</sup> Bruno Baron Freytag von Lörthinghoff (род. близ Риги в 1912, умер в Тюбингене в 1996), профессор философии.

<sup>20</sup>оборот университетского жаргона.

<sup>21</sup> Hans-Joachim Krämer (род. в 1929).

<sup>22</sup>Ср. W. Heisenberg. *Der Teil und das Ganze* (München 1969).

<sup>23</sup> Konrad Burdach (1859–1936).

Для одного из моих товарищей Шадевальдт перевел следующий отрывок Софокла, который привожу в русском переложении Ф. Ф. Зелинского:

Что знанию доступно – я тому  
Учусь; что в силах ум найти, ищу;  
А что желать лишь может сердце наше,  
О том богов смиренно умоляю.<sup>24</sup>

В то время как Цинн – одним обилием своих знаний – глубоко убеждал нас в трудности нашей специальности, Шадевальдт осуществлял зеркально-противоположную, но не менее важную функцию. Он дарил нам мгновения внутренней свободы. Однажды он сказал мне доброе слово – в момент, исключающий тривиальные недоразумения: “Господин Цинн очень ученый и благородный человек, но – прошу вас понять меня правильно – освободитесь от этого влияния. У вас есть чувство стиля. Вам нужно писать”. Правда, я обоих учителей и их влияния на себя никогда не считал несовместимыми. Ни от того, ни от другого не отрекаюсь. Оба они знали, что, по Платону, филология – не только любовь к словам, но и к *слову*, логосу. Оба они для меня – если вспомнить начало этого отрывка, посвященного Шадевальдту, – дорогие и бесценные спутники в путешествии моей жизни. Но в минуты упадка духа я подчас с благодарностью вспоминал дружеский совет знатока греческой литературы.

Михаэль фон Альбрехт  
*Гейдельберг*

Der Heidelberger Altphilologe M. von Albrecht erinnert sich an seine Tübinger Lehrer.

---

<sup>24</sup> Фрагмент 843 в изданиях: А. С. Pearson (Cambridge 1917), Н. Lloyd-Jones (Cambridge, Massachusetts 1996), S. Radt. *Tragicorum Graecorum Fragmenta* 4 (Göttingen 1999). Перевод по изданию: М. Л. Гаспаров, В. Н. Ярхо (изд.), *Софокл, Драмы. В переводе Ф. Ф. Зелинского* (Москва 1990) фр. 479.